

борис божнев



БОРИС БОЖНЕВ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ I

собрание стихотворений I

MODERN RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE
STUDIES AND TEXTS

volume 23

БОРИС БОЖНЕВ

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

ТОМ I

Berkeley, 1987

MODERN RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE

STUDIES AND TEXTS

volume 23

edited by

Lazar Fleishman *Stanford*
Joan Delaney Grossman *Berkeley*
Robert P. Hughes *Berkeley*
Simon Karlinsky *Berkeley*
John E. Malmstad *Harvard*
Olga Raevsky-Hughes *Berkeley*

Berkeley, 1987

БОРИС БОЖНЕВ

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

ЛАЗАРЯ ФЛЕЙШМАНА

BERKELEY SLAVIC SPECIALTIES

Berkeley, 1987

«О Борисе Божневе» © 1987 Lazar Fleishman.

PRINTED IN U.S.A.

ISBN 0-933884-53-2

Памяти Эллы Михайловны Каминер-Божневой

О БОРИСЕ БОЖНЕВЕ

Для всех, кто погружался в историю зарубежной русской литературы, и творчество, и судьба Бориса Божнева окружены ореолом неуловимости и загадочности. Существующие справочники избегают называть даты его рождения и смерти и с неуверенностью перечисляют вышедшие его книги. Божнев не оставил и заметных следов в сохранившихся литературных архивах русской эмиграции; упоминания о нем необычайно редко встречаются даже в неопубликованных материалах его современников, в их переписке. Будучи неразрывно связанным в нашем сознании с русским Парижем, с замечательной плеядой молодых поэтов, выдвинувшей Бориса Поплавского и Александра Гингера, Сергея Шаршуна и Довида Кнута, Божнев, как автор, дебютировал, однако, не в Париже, а в Софии, в изданной им самим совместно с К. Парчевским сборнике *Русская Лирика* (1920)¹ и в журнале П. Б. Струве *Русская Мысль* (сентябрь - октябрь 1921). Обладавший несомненным инстинктом литературного лидерства и тягой к организации, к собиранию вокруг себя поэтов и художников, Божнев в быту отличался в то же время крайней замкнутостью и подолгу и неожиданно «выпадал» из литературной жизни. Ближайшие друзья теряли его следы на долгие годы; он так же внезапно объявлялся, как необъяснимо исчезал с их горизонта. Он не любил представлять своих знакомых друг другу; многие из них не догадывались, что Божнев — их общий приятель. Они ничего не знали о его семейной, домашней жизни, о том, женат он или нет; до-эмигрантское его прошлое было для них окутано тайной. Если бы

не неповторимо-индивидуальные черты творчества Божнева да скупые обмолвки о поэте в прессе, то современный читатель мог бы решить, что самое существование поэта Божнева было всего лишь литературной мистификацией, розыгрышем. А между тем один из самых влиятельных литературных критиков Зарубежья Г. Адамович признавал: «Это единственный „мастер“ среди молодых парижан, самый опытный и взыскательный у них».²

Настоящее издание предпринято с целью собрать все доступные теперь опубликованные и неопубликованные произведения Бориса Божнева. Оно было бы невозможно без щедрой помощи и консультаций Н. В. Резниковой (Париж), Э. С. Спат (Нью-Йорк), О. В. Андреевой-Карлайль (Сан-Франциско) и в особенности вдовы поэта Э. М. Каминер-Божневой (скончавшейся в Тель-Авиве в июне 1986 года). В первый том входят четыре самые известные книги Божнева. Стихи, напечатанные в периодике, книжки, не поступавшие в продажу, и оставшиеся неопубликованными рукописи составят, вместе с комментариями, второй том.

Борис Борисович Божнев родился 24 июля 1898 года в Ревеле, в семье преподавателя истории и литературы Василия Божнева. В следующем году семья переехала в Петербург. Отец умер рано — когда мальчику не было и четырех лет, и спустя некоторое время мать Бориса вышла замуж вторично — за старого друга семьи Бориса Гершуна.³ Хрупкое здоровье матери явилось причиной своего рода «полусиротского» положения будущего поэта — хотя он был усыновлен Гершуном и носил его фамилию, он был отдан на воспитание к родственникам отчима и должен был жить у них. Эта «промежуточность» статуса — «дом» и «не-дом», «сирота» и «не-сирота»,⁴ «не-еврей» и «еврей» — наложила неизгладимую печать на характер творчества поэта. В отрочестве, однако, по истечении нескольких лет, когда здоровье матери поправилось, Борис смог вернуться в семью, в родительский дом. Он рано стал увлекаться поэзией, музыкой, живописью. Среди друзей Бориса в артистическом мире были молодой композитор Сергей Прокофьев,⁵ литературный и балетный критик

А. Я. Левинсон, музыковед и философ Б. Ф. Шлецер.

Разразившаяся революция и бедствия гражданской войны разлучили в 1919 году Божнева с семьей. Отчим и мать вынуждены были искать пристанища в провинции, а сына отправили в Париж в надежде на получение им там высшего образования. В Париже Божнева ожидал, однако, не университет, а эмигрантская нищета. Перебиваясь перепиской нот и устроившись на службу в нотный магазин, Божнев сходится в начале 20-х годов с рядом парижских молодых поэтов и художников (особенно близок он был тогда с Константином Терешковичем и Хаимом Сутином) и становится своим человеком в кругах артистической богемы. Ошибкой является утверждение А. В. Бахраха о том, что Божнев организовал «Палату поэтов» в Париже,⁶ но, по-видимому, именно по его инициативе оформилось другое литературно-художественное объединение — со странным названием «Через», — сменившее «Палату поэтов» после отъезда В. Я. Парнаха в Советскую Россию.⁷ В воскресенье, 29 апреля 1923 года, группа «Через» устроила вечер, о котором один из участников вспоминает так:

«Вечер Божнева» в апреле 1923 года, прошедший с большим успехом, интересен широким участием французских поэтов и художников, читавших свои произведения и выставивших свои картины.

Эта была настоящая франко-русская манифестация молодых поэтов.

Французская молодая поэзия была широко представлена, французские поэты сами читали стихи, а в некоторых случаях их стихи читали — Пьер Бартен из театра «Одеон», Антонин Арто из театра «Ателье» и другие.

Запомнились мне следующие имена французских поэтов: Филипп Супо, Пьер Реверди, Поль Элюар, Поль Дермэ, Рибемон-Десень, Тристан Цара и др.

Вечер начался вступительным словом Сергея Ромова о русских поэтах в Париже, объединившихся в группу «Через».

К. Мочульский прочел доклад о Борисе Божневе.

Борис Божнев читал свои стихи.

Другие члены «Через» читали свои произведения, а Илья Зданевич давал о каждом краткие объяснения французским гостям и вольный перевод прочитанных по-русски стихов.

Выставили свои картины французские и русские художники: Робер Делоне, Соня Делоне, Ф. Леже, Сюрваж, Лидия Мандель, Лало

Гудиашвили, А. Ланской, Б. Поплавский, К. Терешкович, В. Барт, Л. Воловик и др.

В 1923 году Борис Поплавский считал себя еще художником и как-то нехотя читал свои стихи.⁸

По-видимому, тогда же состоялось знакомство Божнева с приехавшим в Париж Сергеем Есениным — на описанном вечере или же на вечере самого Есенина в театре Раймонда Дункана.⁹ Есенину посвящено стихотворение Божнева «Ах, бабочка между домами» в *Борьбе за несуществование*.

В 1924 году три стихотворения Божнева — «Себе я часто руку жму», «Я люблю оранжереи» и «В толпе я смерть толкнул неосторожно» — были напечатаны в Советской России, в московском альманахе *Недра* (кн. 3), вместе со стихотворениями его товарищей по «Через» В. Кемецкого и А. Гингера (в четвертой книге были опубликованы также два стихотворения Довида Кнута). Насколько нам известно, это было первое — и единственное — появление молодых парижских поэтов в «метропольной» прессе.

Выход первой книги Бориса Божнева в 1925 году стал одним из наиболее заметных событий тогдашней литературной жизни. В *Борьбе за несуществование* критиков шокировал демонстративный антиэстетизм автора, тем более скандальный, что в формальном отношении божневская поэзия казалась традиционной, противостоявшей метрическим экспериментам авангардизма. Ссылаясь на стихотворение «Богобоязненный семит», литературный критик старшего поколения Е. А. Зноско-Боровский писал:

Это стихотворение не случайно. То там, то тут натыкаешься на отдельные строчки или на целые вещи, избличающие то же грязное воображение, тот же неразделенный, болезненный эротизм. Вот смерть сидит в уборной под медной цепочкой и рвет бумагу; вот сам поэт в писсуаре сочиняет стихи, читая объявления врачей и подсматривая на проходящие пары влюбленных. Бессильная, больная, безликая розановщина, писсуарная поэзия, говоря стилем автора.¹⁰

Но в этих же «писсуарных» высказываниях Божнева другой эмигрантский критик, Сергей Яблоновский, усмотрел большую глубину:

(...) Убогое, главным образом убогое приносит нам Божнев. Рваное

белье, рваный костюм, рваную душу... Он в жизни отмечает будни. Поэзию-праздник, поэзию-сказку показывали все; все знают, как поэт восседает на треножнике, а Божнев, больной, очутился в другом месте, там, где все бываюот, не рассказывая об этом ни в стихах, ни в прозе. И там чуть-чуть не приняла его смерть... Ведь для смерти нет пристойных и непристойных мест; она и здесь, в смрадном закутке, державит также, как в палатце, или на поле битвы, или среди цветов. А чем же не тема — поэт, расплывающийся с жизнью там, где сорваны последние покровы, какой бы то ни было поэзии. И он тычет нас, как тычут шенят, в самое грязное и позорное:

Стою в уборной... прислонясь к стене...
Закрыв глаза... Мне плохо... Обмираю...
О, смерть моя... Мы здесь наедине...
Но ты чиста... Тебя не обмарю...

Я на сыром полу... очнулся вдруг...
А смерть... сидит... под медною цепочкой...
И попирает... деревянный круг...
И рвет газеты... серые листочки...

Простота или игра в простоту? Последнее слияние со смертью или только кокетничание с нею, флирт? Кокетничанья со смертью у него много. Но так или иначе в стихах — острая боль, надрыв.¹¹

Подобным же образом оценивал *Борьбу за несуществование* и Г. Адамович:

Все, что он говорит, — говорит он по-своему, и книга его, как всякая книга, написанная умело и искренно, открывает читателю новый мир. Мир этот очень печален и убог. Вячеслав Иванов назвал, кажется, последователей Анненского «скупыми нищими» жизни. Эти слова применимы к Божневу (...). Он не выдумывает своих стихов. Это как бы записи его дневника. Это — «стихи из подполья». Они недостаточно убедительны, чтоб стать — как Анненский! — «кошмаром» для тех, кто хотел бы жить спокойней, проще, веселей и радостней. Но, конечно, есть люди, которые Божнева поймут с полуслова и, может быть, даже полюбят.¹²

С иной стороны подошла к сборнику Н. Н. Берберова. Понимая, что оттолкнувший Зноско-Боровского болезненный цинизм — всего лишь литературный прием, и говоря, что основное впечатление от книги — «цельность, легкая поза, любовь к трагической маске. Но иногда его стихи звучат высоким истинным пессимизмом», она обвинила молодого автора в чрезмерной зависимости от Ходасевича и

едва ли не заимствованиях из него:

Божнев несомненно находится под сильным влиянием Ходасевича. В его стихах перефразированы многие стихи Ходасевича, в частности: «Смотрю в окно и презираю», «Хорошо, что в этом мире», некоторые стихи о смерти.¹³

«Дурно пахнувший фонтан» первой книги (стр. 17) неожиданно обернулся совершенно противоположными лирическими чертами в *Фонтане* (Париж, 1927). Книжка эта, состоящая из одних восьмистиший, ознаменовала собою поворот поэта в сторону «неоклассицизма», характерный для ряда явлений европейского авангарда в двадцатые годы. *Фонтан* заставил современников возвести литературную генеалогию Божнева к «метафизической» линии в русской лирике XIX века, к Баратынскому и Тютчеву, воспринятым «поверх» и независимо от посредничества символистов и акмеистов. В отзыве, помещенном в *Воле России*, говорилось:

Фонтан — хорошая книга. Она написана в чисто классических тонах и классической прозрачности. *Фонтан* — чрезвычайно чист, скуп и, быть может, слишком чист и слишком сдержан. Каждое восьмистишие оборвано как раз на том месте, где ждешь самого значительного. Перелистываешь страницу, ожидаешь найти продолжение, нет, это уже другое, а когда кончаешь это другое, — опять возникают мысли и чувства, завершения и увенчания которым не находишь. Умолчание? Потому ли что поэт не знает, или потому, что знает, но не хочет сказать?¹⁴

В 1928 году Божнев издал две тоненьких тетрадки альманаха *Стихотворение. Поэзия и поэтическая критика*, состоявшего из произведений молодых авторов его круга. Он выступал также изредка на собраниях основанного весной 1928 года в Париже по инициативе М. Л. Слонима «Кочевья» (там состоялось и обсуждение *Фонтана*), но активного участия в этой группе не принимал.

Летом 1929 года г. Божнев встретился у своего друга Семена Луцкого (автора стихотворной книги *Служение*, 1929¹⁵) с Эллой Михайловной Каминер, приехавшей в Париж из тогдашней Палестины. Она стала его спутницей

жизни. В 1930 году они поселились в Клямаре, где жило много русских и где соседями их стали близкие друзья Божнева — семейство Андреевых — Резниковых — Черновых. Здесь Божнев встречался с Бердяевым и Ремизовым. Здесь, на первом «Клямарском вечере», 9 декабря 1930, Божнев прочел первую часть своей новой книги — *Ause*.¹⁶ Только четыре стихотворения из нее были опубликованы — в *Числах* (кн. 2-3, 1930). С этого времени вообще намечается разлад Божнева с литературными вкусами и веяниями времени; связи поэта с литературной средой скудеют. Две книжки, вышедшие у него в 1936 году, — поэма *Silentium Sociologicit* и *Альфы с пеною омеги* были встречены пренебрежительно¹⁷ или обойдены молчанием. Время все более становилось «антипоэтическим», политические тревоги заслоняли литературные интересы. По косвенным данным мы знаем о подготавливавшихся книгах Божнева — кроме упомянутой *Ause*, среди них были *Русский Ангел*, *Высокое Водолечение*, *Ван-Глухота*,¹⁸ *Вечный Класс*¹⁹ и *Живое Мертвое Море*.²⁰ О судьбе этих замыслов ныне ничего не известно.

К концу 30-х годов Божнев переходит к изданию своих произведений «камерным» образом, ничтожным тиражом — «für wenige», минуя книгоиздателей, книгопродавцев, рецензентов. «Разрыв» с современностью воплощается теперь и в полиграфических свойствах его книг: они напечатаны на старинной, архивной бумаге. Никаких упоминаний об этих изданиях мы не находим нигде. Но одна из них — *Элегия Эллическая* (Париж, 1940) — была напечатана (может быть, по рукописи) в нью-йоркском журнале *Новоселье* (номер седьмой, сентябрь-октябрь 1942, стр. 32-35) с указанием: «Печатаемая ниже поэма Б. Божнева доставлена нам из Франции, где в настоящее время находится ее автор»; шесть же стихотворений из другой книги — *Саннодержавие. Четверостишия о снеге* (Париж, 1939) — были помещены в номерах 2 за 1942 год (март) и 7-8 (декабрь-январь 1943-1944 г.) того же журнала под названиями (соответственно) «Стихи о снеге» и «Четверостишия». Это были последние выступления Бориса Божнева в «большой» прессе

(если не считать «исторической» антологии Ю. П. Иваска *На Западе*, 1953) и вряд ли сам поэт был осведомлен о них в тот момент. Вышедшие после войны, в 40-х годах, книжки Божнева были адресованы узкому кругу ближайших друзей.²¹

Таким образом, несмотря на сравнительно высокую в условиях эмиграции продуктивность — четыре книги в промежутке между 1925 и 1936 годами, — Божнев как поэт оставался явлением не только малоизвестным, но как бы и «неуловимым». Эта «неуловимость» выразилась и в противоречивой стилистической ориентации его творчества. С одной стороны, в его лирике отчетливо проявляются черты экспериментальных исканий в области стиховой семантики, взятой в ее зависимости от метра, от метрической конструкции строфы. В этом отношении Божнев, конечно, учитывал опыт Пастернака и Цветаевой,²² как ни громадна дистанция между ними. С другой — последовательная, хоть и ненавязчивая «игра» с традицией «легкой поэзии» пушкинской плеяды и с традицией «медитативного» фрагмента Баратынского — Тютчева. Ни с одним из этих полюсов — ни с авангардистским, ни с архаизированно-«пушкинским», даже «державинским» — Божнева невозможно полностью отождествить; весь эффект состоит в колебаниях между обоими, в непредсказуемых сочетаниях компонентов разных стилистических систем, в парадоксальном их сочетании. В эпоху, казалось бы, окончательной дискредитированности «поэтической» лексики и традиционных лирических штампов Божнев упрямо к ним обращается. Так в поэзию его входят *музыка* (с архаическим ударением); *вешние неги*; *лобзания*; *Един язык не ведает одежды*; *Закон струны перстами преступив*; *Ты зришь ли огонь*, в котором нет огня; стилизованные под 18-й век составные эпитеты вроде *тугозамерзшие* (болота), *двудымный* (лебедь), *глубокомудрый* (спор). Ср. прямо «загримированные» под Державина строфы «Скорбь 2 — Утешь 4»:

Из перьев многославен
Хвалебный ей венок,
И солнце, что Державин,
Лежит у царских ног,

И строфами златыми,
Сребристыми в ночи,
Потоками густыми
Через стекло текут лучи...²³

Но тем резче воспринимаются, на этом фоне, отклонения в противоположную лексическую сферу, в область прозаизмов и вульгаризмов — шкет, дербалызни, брюхатость в *Саннодержавии*, интернационалы голосов в *Silentium Sociologicum* и т. под., — дразнящие читателя и оживляющие штампы неожиданной релятивизацией их контекстов. Эта острая неустойчивость, «калейдоскопичность» стиля, наряду с резкими смысловыми сдвигами, предохраняет божневскую поэзию от гладкого, эклектического эпигонства.

В этом проявляется неприятие поэтом «законов» современности, упорная «игра в прятки» со временем. Недаром в своем стихотворном портрете «Кусикова-Лермонтова» Божнев говорит:

Портрет закончен... Вы на нем живой,
И Вас узнают все, кто знал когда-то...
Мне радостно, но, труд закончив свой,
Я ставлю не сегодняшнюю дату.

(*Борьба за несуществование*, стр. 83)

Отношение Божнева к литературной «традиции» соответствует его увлечению картинами примитивов (он жадно коллекционировал их с 1921 года), предпочтению «непрофессионального» искусства, преклонению перед «неумелостью», внезапно обнаруживающей глубокий поэтический смысл. Обращение к несовместимым лексическим сферам вытекало у него из обостренной чувствительности к тончайшим стилистическим нюансам и из «музыкальной» тяги к полифонической организации словесного материала. Связи Божнева с музыкой бросаются в глаза. Дело здесь не только в отсылках к музыкальной тематике. При нарочитой шаблонности метрической организации (почти сплошные ямбы, неизменные четверостишия) — композиция и больших вещей, и миниатюр опиралась у него на «музыкально осознанный» принцип варьирования. Вдобавок, в

соответствии с фундаментальным свойством логики авангардного искусства²⁴ — взаимопересечением сфер художественного текста и «жизни», полотна и рамы — Божнев (занимавшийся, между прочим, в последние годы жизни обрамлением чужих картин-примитивов) выпускает свои последние книжки форматом нотных изданий, печатает стихи на переплетах старых нотных изданий и снабжает обложку своей «оратории для дождя, мужского голоса и тумана» (1948) нотным станом. Создается впечатление, что и теперь, двадцать лет спустя, Божнев не в силах порвать с ремеслом переписчика нот, которым он начал свою жизнь в эмиграции.

Переход Божнева на «полулюбительский» статус в поэзии завершился в военные годы.

С началом войны, в сентябре 1939 года, Божневы оставили Париж и переехали в Марсель.²⁵ Но и на юге им пришлось испытать все тяготы этих лет — голод, безденежье, тяжелая болезнь Эллы Михайловны, преследования оккупационных властей. Как российский подданный, Божнев подлежал в 1941 году интернированию, но сумел избежать его. В 1944 году Элла Михайловна чудом спаслась от облавы на еврейское население в Марселе, а Борис Борисович — от казавшегося неминуемым ареста. Они скитались из дома в дом, влача подпольное существование, прячась в семьях знакомых и друзей. В сентябре 1944 года, во время десанта союзных войск, Божневы вместе с семьей близких друзей просидели неделю в самодельной траншее под непрерывным артиллерийским обстрелом.²⁶

Все последние годы Божнев оставался в провинции, на юге, только изредка наведываясь в Париж или давая о себе знать старым друзьям. Окружение его теперь было целиком франкоязычное, круг интересов замкнулся на рисовании и коллекционировании, но он не переставал писать русские и французские стихи. В апреле 1947 года Элла Михайловна вернулась в Палестину, к престарелой больной матери, которую не видела много лет. Необходимость ухода за ней и работа удерживали ее там; навещать мужа ей удавалось лишь во время коротких летних визитов во Фран-

цию, последний из которых состоялся в 1963 году. Божнев собирался тогда переселиться в Израиль, но этим планам не суждено было сбыться. 24 декабря 1969, после тяжело протекавшего гриппа, Божнев скончался и был похоронен на кладбище Сан-Пьер в Марселе.²⁷ Собранные им картины художников-самоучек и живописные работы его самого были с успехом показаны на устроенных после его смерти выставках.²⁸

История русской зарубежной литературы не может быть изучена без учета наследия «парижской» поэзии межвоенного периода. Стихи и поэмы Бориса Божнева — ее неотъемлемая часть.

Лазарь Флейшман

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Этот сборник упомянут в журнале *Русская Книга* (Берлин), 1921, № 3, стр. 38.

2. Георгий Адамович. «Литературные беседы», *Звено* (Париж), № 4, 1 апреля, стр. 190.

3. Гершун был двоюродным братом знаменитого революционера, видного деятеля эсеровской партии Григория Гершуни.

4. Ср. стихотворение «Чтоб стать ребенком, стану в темный угол» в *Борьбе за несуществование* (стр. 53-54).

5. Портрет С. С. Прокофьева, подаренный им Божневу, ныне хранится в собрании известного советского дирижера Геннадия Рождественского в Москве.

6. А. Бахрах. «Вспоминая Божнева», в газете *Новое Русское Слово* (Нью-Йорк), 3 декабря 1978 и его книге *По памяти, по записям. Литературные портреты*. Париж, 1980, стр. 156. Ср. заметку «Палата поэтов в Париже», *Новая Русская Книга* (Берлин), 1922, № 2, стр. 33.

7. См.: Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. *Русский Берлин. 1921-1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте*. Париж, 1983, стр. 312-315; ср.: Michèle Beyssac. *La vie culturelle de l'émigration russe en France. Chronique (1920-1930)*. Paris, 1971. Для участников группы название ее было склоняемым: в родительном падеже они говорили — Череза.

8. Анатолий Юлиус. «Русский литературный Париж 20-х годов», *Современник* (Торонто), № 13, июнь 1966, стр. 89. Программа вечера при-

ведена в объявлении в газете *Последние Новости* (Париж), № 927, 28 апреля 1923, стр. 3; ср. также: Michèle Veyssac, op. cit., pp. 41-42. На этом вечере Илья Зданевич читал свою «Петрушку» в одном действии «Осел напрокат».

9. См. о нем: Мих. «На вечере Есенина», *Последние Новости*, № 939, 15 мая 1923, стр. 3. Ср.: Влад. Познер. «Сергей Есенин», *Дни* (Париж), № 912, 24 января 1926, стр. 4.

10. Евг. А. Зноско-Боровский. «Парижские поэты», *Воля России* (Прага), 1926, № 1, стр. 159.

11. Сергей Яблоновский (С. В. Потресов). «Геройчик нашего времени (о книге стихов Божнева: *Борьба за несуществование*)», *Руль* (Берлин), № 1307, 21 марта 1925, стр. 2. С. Яблоновский имел к автору другую претензию — его возмутило то, что среди адресатов посвящений в *Борьбе за несуществование* оказались два «советских» поэта — Есенин и Кусиков, и он выразил опасение (оказавшееся безосновательным), как бы молодой поэт не поддался «примиренческому» по отношению к советской литературе настроению, охватившим в 1924-1925 году часть эмигрантской общности.

12. Георгий Адамович. «Литературные беседы», *Звено*, № 108, 28 февраля 1926, стр. 2.

13. Ивелич. (Рец.:) «Борис Божнев. *Борьба за несуществование*. Париж, 1925», *Современные Записки* (Париж), XXIV (1925), стр. 442. Это суждение было оспорено Г. П. Струве: «Некоторые критики упрекали его в чрезмерном подражании Ходасевичу, но этот упрек едва ли очень справедлив». — См.: Глеб Струве. *Русская литература в изгнании*. 2-е изд., испр. и доп. Париж, 1984, стр. 163. По словам А. В. Бахраха (*По памяти, по записям*, стр. 159), Ходасевич Божнева не «признавал». Хотя в ту пору, когда Ходасевич заведывал литературным отделом газеты *Дни*, там появились стихи молодых парижских поэтов, Божнева в их числе не было.

14. А. Леонидов. (Рец.:) «Борис Божнев. *Фонтан. Восемнадцать стихотворений*. Париж, 1928», *Воля России*, 1928, июнь, стр. 124. Ср. о классической ясности Божнева в докладе М. Л. Слонима, прочитанном в парижской группе «Кочевье» и напечатанном в *Воле России* (октябрь 1929, стр. 111).

15. Два стихотворения в ней посвящены Божневу.

16. Michèle Veyssac, op. cit., p. 252. Аузе — деревня в Савойе, где чета Божневых провела лето 1930 года.

17. См. отзыв Г. Адамовича о *Silentium Sociologicum* в газете *Последние Новости*, № 5439, 13 февраля 1936, стр. 2. Кусок из этой поэмы Дмитрий Кобяков перепечатал в своей газете *Честный Слон* (Париж) в мае 1945 г.

18. Они перечислены на форзаце *Фонтана*, 1927.

19. См.: *Воля России*, 1928, февраля, стр. 25.

20. См.: *Воля России*, 1930, июль-август, стр. 578. Второе и третье стихотворения из цикла, напечатанного в этом номере журнала, включены в книгу Божнева *Альфы с пеною омеги*.

21. По словам А. В. Бахраха, «теперь они представляют немалую библиографическую редкость и высоко ценятся любителями поэзии», *op. cit.*, стр. 160.

22. В библиотеке Йельского университета хранится экземпляр *Борьбы за несуществование* с дарительной надписью: «Марине Цветаевой с глубокой благодарностью, особенно за «Стихи к Блоку» и статью о Пастернаке. Борис Божнев. 28 XII 1927. Париж». Первую свою книгу Божнев преподнес и Н. Н. Асееву — она находилась в коллекции Алексея Крученых (см.: *Центральный гос. архив литературы и искусства СССР. Путеводитель*. Вып. 5. *Фонды, поступившие в ЦГАЛИ СССР в 1972-1977 гг.* М., 1982, стр. 130).

23. *Воля России*, 1929, август-сентябрь, стр. 27.

24. Экспериментальную направленность творчества Божнева подчеркнула З. А. Шаховская в выступлении на симпозиуме в Женеве весной 1978 года. См.: *Одна или две русских литературы? Международный симпозиум, созданный факультетом словесности Женевского университета и Швейцарской Академией славистики. Женеве, 13-14-15 апреля 1978.* Лозанна, 1981, стр. 57.

25. Здесь в 1941 г. встретил Божнева В. С. Яновский — см. его *Поля Елисейские. Книга памяти*. Нью-Йорк, 1983, стр. 237.

26. События военных лет зафиксированы в записной книжке Б. Божнева, переданной на хранение в Архив Гуверовского института.

27. Сообщение Г. П. Струве в его книге 1955 года *Русская литература в изгнании* о том, что Божнев «кончил в лечебнице для душевнобольных», повторенное А. Бахрахом в статье о Божневе в газете *Новое Русское Слово* и в мемуарах Н. Н. Берберовой (см. ее *Курсив мой*, Нью-Йорк, 1983, стр. 251 и 447) является ошибочным. При перепечатке своей статьи *По памяти, по записям* в 1980 году А. В. Бахрах это утверждение опустил.

28. См.: *Le monde étrange de Boris Bojnev*. Préface de Frédéric Altmann. Autobiographie de Boris Bojnev. Textes de Gilbert Pastor. (Musée d'art naïf. Flayosc-Var-France, 1973); *Pierre Chave présente Boris Bojnev*. Vence, 1980 (Galerie Alphonse Chave).

БОРЪБА ЗА НЕСУЩЕСТВОВАНЪЕ

ГАНСУ АНДЕРСЕНУ
ЧАРЛЬЗУ ДИККЕНСУ
ФРАНСИСУ ЖАММУ

БОРИС БОЖНЕВ

БОРЪБА
ЗА
НЕСУЩЕСТВОВАНИЕ

ПАРИЖ
МСМХХV

Уж был в тумане облик Отчий,
Предсмертная пронзала дрожь,
Когда раскрыл великий зодчий
Свой мудрый и простой чертеж.

Он снова спас меня от смерти,
Благой и благосклонный друг,
И точным циркулем он чертит
Мой тесный бесконечный круг,

И я, ликующий безмерно,
Вошел и, став в своем кругу,
Смотрю на этот контур древний —
На плоскость, хорду и дугу,

Сменяя смертное томленье
На крепкий труд великих дней, —
Не нас, не нас страшит паденье
И грохот мировых камней.

И я, начавши созиданье
Его продолжу средь высот,
И тяжкое земное зданье
Свой купол к небу вознесет.

О, будь не милостив, но строже,
И дай свой замысел постичь —
Для будущей храмины Божьей
Я — первый праведный кирпич.

Я осудил себя единогласно...
О, с приговором моего суда,
Душа моя, согласна ты,—согласна...
Душа моя, ты мне прощаешь, — да...

На годы осудив себя, на годы,
Я думал: цепи до крови натрут...
Душа моя, все ширится свобода,
Все легче и все плодотворней труд.

И капли слез мешают видеть мир,
Но мир иной провидится чрез плачи, —
Ни я, ни ты, никто не будет сир,
Увидя мир сквозь капли слез незрячих.

Пусть воздуха и света пелены
От нас скрывают лица, вещи, тени —
В незрячей капле запечатлены
Вся вещь и все лицо без средостений.

Пусть видишь ты, взглянув на вещь, на ту,
Объем и плоскость, и углы тупые —
Ведь плачущий ты смотришь в темноту,
В которую не смотрят и слепые.

Пусть веки мы смежим еще не раз,
Отягощенные и налитые болью —
Ведь темнота целительна для глаз,
Когда глаза сочатся слезной солью.

Вот почему, мой друг, когда нибудь
Ты улыбнешься мне изнеможенно,
А я скажу — поверь, и не забудь,
Что всякая печаль слепорожденна,

Что капли слез мешают видеть мир,
Но мир иной провидится чрез плачи,
И что никто, никто не будет сир,
Увидя мир сквозь капли слез незрячих...

Не пишется сегодня... и не надо...
Но я подумал, Музе вопреки:
Мы для стихов, как грешники для ада,—
И вот уже четыре есть строки...

А пятая — всем праведникам в мире...
Шестая—о, взгляните же сюда...
Седьмая — мы терзаемся на лире...
Вот восемь строк для страшного суда...

Хорошо, что на свете есть мамы,
Братья умные, нежные сестры —
Даже самый дурной и упрямый
Любит близких любовью острой.

Хорошо, что есть кроткие дети,
Есть и девушки, или подростки —
Значит, мы не напрасно на свете
Доживаем до старости жесткой.

Хорошо, что есть добрые жены,
Есть приятели, или подруги —
Каждый может, болезнью сраженный,
Попросить о последней услуге.

Только тем, кто страдает без друга,
Очень плохо, но слову поверьте —
Всем поможет простая услуга
Нелюбимой, но любящей смерти.

Закройте шкаф... О, бельевой сквозняк...
Как крепко дует ветер полотнянный...
Да, человек раздевшийся — бедняк,
И кровь сочится из рубашки рваной.

Мне кажется, что эти рукава
Просили руку у веселых прачек,
Что эта грудь, раскрытая едва,
Сердечко накрахмаленное прячет.

Да, человек так некрасив в белье
И так прекрасен в платье небогом.
Лишь ангелы в пресветлом ателье
Стыдливые позируют пред Богом.

Но у рубашок нет своих голов,
Кто их отсек, — тяжелые секиры...
Разделся я, и вымыться готов,
Но — Иорданом потекла квартира...

О, иду сквозь комнатный туман
При шумном плеске кранных ликований,
И ждет меня Креститель Иоанн
Крестить в горячей белоснежной ванне.

О, в пенной седине пречистый муж, —
Я пред тобой, застенчивый и голый,
И брызжет ореолом мелкий душ,
И надо мной летает мыльный голубь...

Стоять у изголовья всех здоровых
И неголодным отдавать еду,
Искать приют всем, кто имеют кровы,
И незовущим отвечать — иду,

Любить того, кого уже не любишь,
И руки незнакомым пожимать,
Не пить воды, которую пригубишь,
И с взрослыми беседовать, как мать...

Одни и те же каменного улья
Нас давят стенки или потолки,
Но мы на двух, на двух разложим стульях
Мои одежды и твои чулки,

И нежности у нас настолько хватит,
Что, простыни прохладные постлав,
Мы ляжем на несдвинутых кроватях,
Друг другу сон спокойный пожелав...

Почувствовавши плотские уколы,
Отрадно будет зубы крепко сжать,
И на матраце тощем и безполом
Под девственной простыней лежать,

И нас разделит навсегда без боли
Не грозный ангел острием меча,
Но деревянный неширокий столик
И белая на столике свеча...

О, пусть из тела моего не вышли
Все демоны, которых веселю —
Ведь если я спрошу тебя: ты спишь ли,
А ты ответишь: нет, еще не сплю,

То сдержанный мой голос будет суше,
Чем серый пух подушки пуховой,
Чтоб услышать и без волнения слушать
Целующий и сонный голос твой...

Твой воротник, как белые стихи,
И смокинг твой, как чистовик рассказа,
А я одет... Ах, брюки так ветхи
И мой пиджак не сделан по заказу...

Я осмотрел твой шкаф и твой комод
И мы стоим перед зеркальной дверцей...
Ты — милый франт, а я — почти урод,
И старомоден, как цветы и сердце.

Старик! Тебе не тяжело мешки
Таскать под ослабевшими глазами,
И вызывать улыбки и смешки
Внезапно заблестевшими слезами...

Слеза дрожит, слеза, дрожит слеза,
Поблескивая тепловатым блеском,
Туманя ослабевшие глаза,
Пока рука ее не сбросит резко...

Старик! Зачем ты наложил в мешки
И под глазами бережешь болезни,
Излишества, наследственность, грешки, —
Закон возмездья, о, закон железный...

А я иду с большим мешком добра,
Под тяжестью его согнулись ребра,
И есть в моем большом мешке дыра,
И сыпется добро, и в руки добрых...

Съедая за день высохший сэндвич
И думая о чае, как десерте,
С тобой ходил я всюду, как сэндвич
С плакатами о нежности и смерти —

Вниманье... у меня... последний час...
Доступно бедным... но не распродажа...
Ты в сотый раз читала, огорчась,
Тогда как все не примечали даже...

Борису Шлецеру.

О, темные ночные разговоры.
Незримые незримые слова...
Во мраке с головою голова
Беседуют, как опытные воры...

Ужасный час... На собственной подушке
К законной краже каждый приступил,
И слышен скрип убийственнейших пил,
И сыпятся секретнейшие стружки...

О, как чарует песней лебединой
Под наволочкою лебяжий пух,
И лебедь умирающий распух,
И умер по бокам и в середине...

Ужасный час... Двухспальная скамья
О, для неподсудимых... Ночью судной
Всѣ ангелы сидят на белых судах...
Спокойной ночи вам желаю я.

Сплелись мужской и женский голоса,
Запутался, оправдываясь, голос,
И отсекает голосащий волос
Ее косы о, смерть, твоя коса...

Я полагал, что нервные припадки
Давно прошли... Всего их было семь...
И я, на слезы и на нежность падкий,
Почти спокоен... Сплю, пишу и ем...

Но был восьмой припадок... Я сегодня
Так долго бился... И мой страх воскрес...
Тебя уж нет, но есть любовь Господня...
Мне помогли молитвы, и компресс.

По кладбищу хожу веселый,
С улыбкой светлой на губах,
Смотря как быстро новоселы
Устроились в своих гробах.

На кладбище всегда веселье —
Ко всем, кто безприютно жил,
Пришел на праздник новоселья
Живущий выше старожил.

Я не люблю оранжереи,
Где за потеющим стеклом
Растенье каждое жирея
Зеленым салом затекло,

И, к грядкам приникая ближе,
Цветов прожорливые рты
Навозную вбирают жижу
В извилистые животы...

О, если бы стеблям высоким
При свете газовом не зреть,
Не пить химические соки
И за стеклом не ожиреть,

А солнечный остроконечник
Очистил бы своей водой
Благоухающий кишечник
Цветов пресыщенных едой...

Чрез струны железные лиры
Я видел при утренних звездах
Как взвеяли ангелов клиры
Крылами и пением воздух,

И я, прижимаясь к железной
Струне у подножия лиры,
Смотрел, преклоненный и слезный,
На воздух и пенье, и клиры...

Я на соломинку чужого глаза
Указываю редко и с трудом,
Зато из бревен своего я сразу
Построить мог бы превысокий дом.

Он был бы выстроен в ужасном стиле,
Но подивился бы бездушный мир,
Узнав, что всех бездомных разместили
По светлым комнатам моих квартир.

Имелись бы в нем платье, обувь, пища,
Конечно, все простое — я не Крез,
Но тот, кто грязен был, тот стал бы чище,
Кто духом пал, тот скоро бы воскрес,

А для больных в нем были бы палаты,
Поправились бы все, в конце концов,
И я не брал бы самой низкой платы
За право жизни от своих жильцов.

Вы спрашиваете — который номер,
И улицу... Зачем Вам, Вы — богач.
Я не скажу. А полицейский — помер.
Бедняк, тебе же я скажу — не плачь.

Так я живу. О, что то строят руки,
А что — не вижу, даже и во сне.
Не из за бревен ли я близорукий.
Закрыв глаза, смотрю через пенснэ.

Ребенок ушибившись плачет
И трет синеющий ушиб,
Но что удар смертельный значит
Для тех, кто столько раз погиб,

А мать ребенка утешает
И на руки его берет,
Но что же значит боль большая
Для тех, кто столько раз умрет...

Катушка ниток — шелковая бочка,
Но я не пью, и не умею шить.
Игла, пиши пронзающую строчку:
Как трудно шить, еще труднее жить.

Дрожит рука твоей ручной машины
И ваши руки я поцеловал...
О, море, на тебя надеть бы шины,
Чтобы не громыхал за валом вал.

Катушка ниток заливает платье
Тончайшим белым шелковым вином, —
Ты говоришь — тебе за это платят...
Счастливая, ты здесь, а я в ином —

Материи нематерьяльный голос
О матери моей прошелестел...
Она любила, верила, боролась...
О, души голые одетых тел...

Прислушайся... Нет, то не грохот ветра,
То ветхий мир по дряхлым швам трещит.
Безмерна скорбь. Я не хочу быть мэтром.
И твой наперсток — мой последний щит.

Стою в уборной... прислонясь к стене...
Закрыв глаза... Мне плохо... Обмираю...
О, смерть моя... Мы здесь наедине...
Но ты — чиста... Тебя не обмараю...

Я на сыром полу... очнулся вдруг...
А смерть... сидит... под медною цепочкой...
И попирает... деревянный круг...
И рвет газеты... серые листочки...

И — поле злаков или трав —
Мое лицо — следы потрав,

И гибнут колос и листы,
Мое лицо — сгниешь и ты...

И леса или ветхой рощи
Мое лицо, о, будь попроще,

И ветром сломанные ветви
Мое лицо таит, заметьте...

И от сгнивающих растений
Мое лицо покрыли тени,

И, в небо простирая корни,
Мое лицо, о, будь покорней...

И плача и дрожа, как ива,
Мое лицо, ты некрасиво,

И как фальшивые цветы
Мое лицо не любишь ты...

В твоих объятьях можно умереть
От нежности, как от туберкулеза,
И на лицо твое смотреть, смотреть,
И улыбаться слабо и сквозь слезы...

Не бойся же меня руками сжать —
Просторно мне, как выпущенной птице,
Душой в твоих объятьях возлежать,
А телом тихо к небу возноситься...

Вымывшись и белую рубашку
На тело свежее надев,
Я вздохну спокойно и нетяжко,
Лишь едва заметно побледнев.

Мокрой щеткой волосы приглажу
Привычными движеньями руки,
И кривыми ножницами даже
У висков подрежу волоски.

Зеркало к своим губам придвинув,
Подышу на темное стекло,
Думая — я через час остыну,
А мое дыхание тепло.

Всматриваясь в пятнышки веснушек,
Я замечу желтую одну,
И взгляну на брови и на уши,
И на губы синие взгляну.

И поставлю зеркало обратно
На пыльное помятое сукно,
И сделаются сразу непонятны
Потолок и стены, и окно.

И прилягу на кровать устало
С тупеющей болью в голове,
И, пальцами впиваясь в одеяло,
Проглочу из трех крупинок две...

Пять месяцев я прожил без пенснэ
И шурился, как всякий близорукий,
Но то, что видел, видел не во сне,
Мои стихи и радость в том поруки.

Но я не все в стихах моих раскрыл
И радуюсь не обо всем воочью —
Не два стекла, но пару белых крыл
Я пред глазами видел днем и ночью...

Богобоязненный семит,
Я целомудренней Онана,
Но терпкий аромат банана
Меня волнует и томит.

И не понять мою игру:
Я влажные раздвинул губы
И медленно вонзаю зубы,
Прокусывая кожуру.

Она упруга и туга,
Но смачивается слюною,
И мусульманскою луною
Уже не кажется дуга...

Я словно прикасаюсь к коже
И к девственному животу,
И снова ощущаю ту,
Что некогда томила тоже...

Но не луна... О, нет, не грудь
И не живот моей Эсфири...
Четыре лепестка, четыре
Осталось мягких отогнуть,

И мною обнаженный плод
Себя бесстыдно мне покажет,
И будет поцелуев слаже
Его благоуханный мед...

Над городом несется смерчь,
А в глаз пылинка попадает...
Я испытал и жизнь и смерть,
И все таки еще страдаю....

Корабль с людьми идет ко дну,
Но плавает среди бури пробка...
Люблю тебя, тебя одну,
И ты меня спасаешь робко...

Как утомленный почтальон,
Идущий в тихом переулке,
Как церемонный котильон,
Звнящий в дедовской шкатулке.

Как солнечный пушистый снег,
Ногами загрязненный очень,
Как лошади усталый бег,
Когда ей путь не укорочен.

Как женщина среди детей,
Не захотевшая ребенка,
Как радостнее всех вестей
С любимым волосом гребенка.

Как вымазанное лицо
Немолодого трубочиста,
Как выкрашенное яйцо
Пасхальной краскою лучистой.

Как холодеющий тюфяк
Под неокоченевшим телом,
Как одинокий холостяк
В публичном доме оголстелом.

Как разорвавшийся носок,
Заштопанный неторопливо,
Как юноша, что невысок,
И девушка, что некрасива.

Как проволочные венки
На торопливом катафалке,
Как телефонные звонки
И в черной трубке голос жалкий.

Как улыбающийся врач,
Болеющий неизлечимо,
Как утешение — не плачь,
Когда печаль необлегчима.

Как ангел Александр Блок,
Задумчиво смотрящий с неба,
Как голумертвый голубок,
Мечтающий о крошках хлеба...

Ночь—женщина, мужчина—день,
Но есть часы—гермафродиты...
Вот этот час: ни свет, ни тень,
В нем нежность и суровость слиты...

Вот этот час: двуполоый он,
Ни темен и ни светел воздух...
Не спишь, но созерцаешь сон,
Лежишь, но утомляет отдых...

Михаилу Эпштейну.

Когда солдат встречается с солдатом,
Он отдает ему по братски честь —
Хотя различны их рождений даты,
Но смерть для них одна и та же есть,

А водолаз, спустившись с водолазом
По двум канатам на морское дно,
Там трудно дышат однородным газом,
Хотя у них дыхание не одно.

Когда матрос встречается с матросом,
Как ни была б полярна их земля,
Они легко без слов и без вопросов
Прочтут на шапках имя корабля,

А дерзкий вор, уговоришись с вором
О днях удачных и опасных краж,
Сообщнику покажет только взором
На магазин, на банк или гараж.

Когда рабочий говорит с рабочим,
Хотя бы и не из своей среды,
Их заставляет сблизиться короче
И общая усталость, и труды,

А два о чем то спорящих ученых,
Различных догм, академий, тог,
Находят в цифрах нежесточенных
Спокойный довод и сухой итог.

Любились семь часов, а спали два.
За час любви — сонливости минуты...
И, простыней накрытая едва,
Потягиваешься во всю длину ты...

Нет, я не в силах о таких ночах
Писать стихи, и о таких рассветах...
Ты ртом меня ах, ртом терзала, ах,
Но разве рот твой утоляет это...

Чтоб стать ребенком, встану в темный угол,
К сырой стене заплаканным лицом,
И буду думать с гневом и с испугом —
За что наказан я, и чьим отцом...

Я своего отца почти не помню,
Увы, не он меня так наказал,
Но сделается вдруг мой угол темный
Светлей, чем солнцем озаренный зал;

И предо мной сквозь грязные обои
И неправдоподобные цветы
Вдруг просияет небо голубое
И спросит голос — сын мой, это ты...

И я скажу, бросаясь на колени, —
Да, это я, и я хочу, отец,
В сердечных и душевных преступлениях,
Во всем тебе сознаться, наконец...

И я сознаюсь... словно перед смертью...
О, грех один... О, как сознаться в нем...
Сознаюсь... И возрадуются черти...
И стыд глубоким обожжет огнем...

Но строго скажет добрый голос отчий —
На этот раз прощу тебе грехи,
За то, что с каждым днем светлей и кротче
Свидетельствуют о тебе стихи...

И будем долго говорить друг с другом,
И я пойму, что я любим отцом...
Чтоб стать ребенком, встану в темный угол,
К сырой стене заплаканным лицом.

В четвертом этаже играют Баха,
А я живу на этаже шестом...
Смотрю на небо... Ни тоски, ни страха...
Сейчас я в настроении святом...

Мы ничего не знаем друг о друге,
Но нет на свете более родных...
Поют в еще невыученной фуге
Два голоса, и оба — неземных...

Я часто, написав свои
Стихи от горя или скуки,
Целую мысленно твои
Воображаемые руки,

И вспоминаю каждый раз —
О, только вспоминать осталось —
Как ты моих закрытых глаз
Легко и бережно касалась,

И я в себя сейчас опять
Вонзаю сладостные жальца,
Перецеловывая пять
Твоих когда то теплых пальцев,

И суеверно дорожа
Своей мечтой, свою ложью,
Я чувствую — они дрожат
Все той же девственной дрожью,

Но кажутся еще бледней
И целомудренней, и строже,
И жилки синие видней,
Сплетающиеся под кожей...

Константину Терешковичу

Трава зеленая, как скука,
Однообразная навек,
Упала на землю без стука,
Подкошена, как человек...

О, верьте мне или не верьте,
Но я попятился, как ужас,
Пред небом, что бледнее смерти,
И солнцем, что садится в лужах...

О, не смотри в оконную дыру,
Не упади в провал открытой двери,
И, чувствую, от страха я умру,
А ты смеешься, ничему не веря...

Не веришь ты, что за окном не двор,
И что за дверью не першла лестниц,
Но пустота, в которой до сих пор
Мяуканье пронзительное вестниц

О гибели не заградивших дверь,
О выпавших чрез окна без затворов,
И если шаг мы сделаем теперь,
То на лету мы задохнемся скоро...

О, неужели ты не видишь ту
Огромнейшую яму за порогом —
Остановись, не ввергнись в пустоту,
Тебя молю и заклинаю Богом,

Но ты не хочешь слушать и понять,
Уже одетый ты спешишь спуститься,
А я не в силах ни тебя обнять,
Ни сам с собой торжественно проститься...

Я улицу покинул Ламартина
И поселился на твоей, Декарт...
Там все погибло... О, какая тина...
А здесь — премудрость глобусов и карт.

Но скучно жить среди книгохранилищ,
На глобусе гуляю и верчусь...
Я ангелу скажу — одно верни лишь,
Но какъ сказать не знаю, и учусь.

На деревянное яйцо
Кустарное мы не похожи,
Хотя живое взяв лицо
И разберем его и сложим,

И как за скорлупой яйца
Находят пестрые скорлупы,
За умным выступом лица
Есть выступ маленький и глупый...

Второе в первом, во втором
Лицо тупеющее третье,
И, словно шарик за шаром,
За лбом костлявый лобик встретим,

Когда без горечи и страсти,
Лишь вздрагивая иногда,
Лицо любимое на части
Мы разбираем без труда...

Но пусть над глубиной яиц
Последние замкнулись крышки,
Таятся в глубине всех лиц
Преравнодушные пустышки, —

Во всех единые видны,
И, отразившиеся в душах,
Не мертвые, но холодны
Всей мертвенностью равнодушья...

Какая боль... Не воспаление ль мозга...
Температура — тридцать девять, пять...
Что это! иглы, бритвы или розга,
Или венец терновый, чтоб распять...

О, о, о... Иглы колят, бритвы режут
И розга резко рассекает лоб...
Острее, медленнее, глубже, реже...
Иметь бы морфий, сразу помогло б...

Подобно крысам с корабля,
Лист за листом, шурша угрюмо,
Бежит из твоего, земля,
Еще не тонущаго трюма,

И мы, рассудку вопреки,
Следим за тайным бегством этим,
И гибель ждем, как моряки,
И мужественно гибель встретим,

Хотя деревья и кусты
Без парусов темнозеленых
Как мачты сделались пусты
Не от морских ветров соленых,

Хотя за волнами волна
Не кораблекрушений лютых
Дождями льются, льются на
Борта земли и на каюты,

Но только листьям, только им,
Понятно, что грозит нам вскоре,
И отчего мы так грустим,
Плывя в сентябрьское море,

И, словно крысы с корабля,
Лист за листом, шурша угрюмо,
Бежит из твоего, земля,
Еще не тонущаго трюма...

Я мою руки... И кувшин Пилата
Льет воду в чашку с белоснежным дном...
О, мучаюсь... О, ждет меня расплата...
О, вся нечистота на мне одном...

Я поднял руки, чтобы видно было —
Опратен и трудолюбив, и прав...
Все десять пальцев... серой кровью мыла...
Но мы чисты — одиннадцать Варрав...

Сергею Есенину.

Ах, бабочка между домами
Летела пред моим балконом,
И я — но это между нами —
Приветствовал ее поклоном.

Мне было так темно и душно,
Что я, следя за нею взглядом,
Хотел оставить равнодушно
Балкон и полететь с ней рядом.

Пускай нас понесет ветрило
Прохладное под облаками,
И я держался за перила
Слегка дрожащими руками,

А если не свершится чудо,
То нижние увидят ставни,
Как выбросившийся отсюда
Я камнем упаду на камни.

Но бабочка взлетела выше
На крылышках светлозеленых,
И скрылась над соседней крышей,
Не видя моего поклона...

На некрасивых девушек и женщин,
Друзья, смотрите проще и нежней.
Мужчины любят их слабей и меньше,
Им чистый взгляд дороже и нужней...

А всех одетых бедно, не по моде,
И всех немного слишком старых дев
Пускай ваш взгляд прелестными находит,
Обняв, ощупав, обласкав, раздев...

И с омерзением приемлю,
И с отвращением смотрю
На прогнивающую землю
И безобразную зарю,

И небо пухнет надо мной,
И падаль чувствую дыханьем,
А утренний прозрачный гной
Мне отравляет обонянье.

И вялый трупный привкус этот
На языке моем во рту,
И запах солнечного света
Вновь вызывает тошноту,

И воздуха густое сало
Все горячее и жирней,
А ноги пачкаются калом
Травы, песка или камней.

Но я и шага не пройду,
Как, схвачен судорогой дикой,
Весь содрогаясь упаду,
Захлебывающийся криком...

В толпе я смерть толкнул неосторожно
И ей сказал: pardon, mademoiselle...
Она в костюме скромном и дорожном
Шла предо мной, как легкая газель...

И я увидел — косточки в перчатках
Роняют зонтик... Но проходят все...
Нагнулся я и поднял зонтик гладкий,
И смерть шепнула мне: merci, monsieur...

Собака кошку ненавидит
И гонится за ней везде,
А нас любви учил Овидий
И Тютчев — роковой вражде.

Животные, грызясь немудро,
Дружны бывают иногда,
А за любовью златокудрой
Есть сребровласая вражда.

Хозяйского не слыша гласа,
Животные грызутся вновь,
А за враждою златовласой
Есть среброкудрая любовь.

Собака кошку ненавидит
И не щадит ее нигде,
А нас любви учил Овидий
И Тютчев — роковой вражде...

Сергею Прокофьеву.

Ноябрьские тюфяки
Перестилаются над нами
Движеньем ледяной руки
Декабрьскими простынями,

И отсыревшие полотна,
Свинцовым отблеском блестя,
Натягиваются неплотно,
Однообразно шелестя...

Пишу стихи при свете писсуара,
Со смертью близкой все еще хитря,
А под каштаном молодая пара
Идет, на звезды и луну смотря.

Целуются и шепчутся... Ах, дети...
А я не знаю, хоть совсем здоров,
Куда глаза от объявлений деть и
Все думаю — как много докторов...

Проходит пара медленно и робко
Чрез лунный свет и звездные лучи,
А я в железной и мужской коробке
Вдыхаю запах лета и мочи...

Вздыхают и задумались... Ах, кротко...
А я стою, невидимый для них,
Над черною и мокрою решеткой
Все думая — как мало не больных...

Журчит вода по желобкам наклонным
И моет дурно пахнувший фонтан,
Но безразличны молодым влюбленным
И я и смерть, и городской каштан...

О, русский Свифт... Я слабый Гулливер...
Меж лилипутов — в суете и гаме —
Ползет трамвай и зеленеет сквер...
И я боюсь в толпу ступить ногами...

Но где мой друг и где моя постель —
Во мне огромны нежность и усталость...
И я шагнул... чрез Сену... сквозь метель...
Страна гигантов — ты Россией стала...

Александрю Кусикову.

Вы — Михаила Лермонтова брат.
Да, Вы его наследник самый ближний.
И верьте мне — я более, чем рад
Так близко знать Вас в современной жизни.

В расцвете лет убит был Михаил,
И Вы — последний представитель рода.
О, Байрон тоже Вашим братом был:
В семье не без небесного урода.

Увы! погиб и он в расцвете лет,
И я боюсь за Вас, за фаталиста —
Вы трубку держите, как пистолет,
Как пистолет дымится трубка мглисто,

И пахнет порохом табачный дым,
За дымом — горы сумрачные стыннут,
И под рассветным облаком седым
На камне ждет, кого то ждет Мартынов,

А на стене у Вас висит ковер,
Мне чуждого, Вам близкого Кавказа,
И он для Вас цветист, как разговор,
Но для меня он страшен, как проказа...

Кавказ! Кавказ! О, снежная струна,
Не тающая на российской лире,
И под рукой у Вас гремит она,
И грозным эхом повторится в мире.

О, смутно постигает тот, кто вник
Во звуки Вашей яростной музыки,
Что нас ведет незримый проводник
Наверх по скалам роковым и диким...

Кавказ! Кавказ! О, ледяной хребет
Великих, средних, небольших поэтов,
И я даю Вам клятву и обет
Подняться с Вами к холоду и свету.

И я, и я бессмертным льдом согрет,
Его сверканьем ослеплен навеки...
Но должен я закончить Ваш портрет:
Пейзаж еще не видят в человеке.

Лицо... О, мраморные нос и лоб,
И золотые волосы и брови...
Но я не знаю, что сломить могло б
Сталь и железо Вашего здоровья.

И тело... Статен, невысок, нетолст,
Но как ни берегите и ни мерьте,
Ах, только фотография и холст
Его спасут от старости, от смерти.

Походка... Так идет спокойный зверь,
Так против волн плывет большая лодка,
Так движутся часы — прохожий, сверь —
Так волочится с каторжным колодка.

И жесты... Этот плавен, этот груб,
А этот полон грации несветской,
И складка умных мужественных губ
Вдруг содрогается в улыбке детской.

Душа... О, слово дивное душа...
Его произносить легко и страшно...
О, тень бумаги, тень карандаша,
О, белый мир бумаго-карандашный...

Портрет закончен... Вы на нем живой,
И Вас узнают все, кто знал когда то...
Мне радостно, но, труд закончив свой,
Я ставлю не сегодняшнюю дату —

О, в комнату отеля де ля Плас,
Где после нас живут чужие люди,
Моя душа за чем то повлеклась...
Я Вашим другом был и есть, и буду.

Не трогайте мои весы —
Я мужественною рукою
Трудился многие часы
Над неподвижностью такою,

И сам себе воздал хвалу
За то, что тяжестью единой
Весов установил стрелу
Пред золотою серединой...

Но вот, когда ни взор, ни слух
Не нарушают равновесья,
И поровну на дисках двух
Как будто невесомый весь я,

Когда их сдерживать рука
Уже устала, неужели
Вновь чаша плотская тяжеле,
А та, небесная, легка...

Неблагодарность — самый черный грех.
Не совершай его, и будешь светел.
Никто не в праве мне сказать при всех:
Ты на добро мое мне чем ответил...

Никто... И, совесть, ты — почти чиста...
Число друзей моих, мужчин и женщин,
Живых и умерших, да, больше ста,
Врагов же — пять... а, может быть, и меньше...

И не должник я... Никому, ни в чем...
Я все отдам за нежности крупицу...
И, сам больной, был для других врачом...
О, каплю жалости, чтоб мне напиться...

Любовниц милых и святых подруг,
Любивших, отошедших... все бывает...
Пусть далеки они... Но сразу, вдруг...
Ах, ничего то я не забываю...

А ты... Ты ангел или человек,
Меня спасавший делом и советом...
Я был бы мертв... О, жизнь не для калек...
Я жив и счастлив... О, не чудо ль это...

Не знаю... Плачу и благодарю
За помощь в прошлом, верность в настоящем,
Ночь творчества и чистую зарю
Светлеющую надо мной, не спящим...

А, Б, В, Г, Д,
1, 2, 3, 4, 5...
Старости школа, о, где —
Время учиться опять.

Е, Ж, З, И, К,
6, 7, 8, 9, 0...
Муза, скамью старика
Ныне занять мне позволь.

И есть борьба за несуществование,
За право не существовать — борьба...
О, неживое мертвое название,
О, неживая мертвая судьба.

Существование слабым не под силу,
И вот — борьба, чтоб не существовать...
Я побежден... Меня не подкосило
На непохолодевшую кровать.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Уж был в тумане облик Отчий	11
Я осудил себя единогласно	13
И капли слез мешают видеть мир	14
Не пишется сегодня... и не надо	16
Хорошо, что на свете есть мамы	17
Закройте шкаф... О, бельевого сквозняк	18
Стоять у изголовья всех здоровых	20
Одни и те же каменного улья	21
Твой воротник, как белые стихи	23
Старик, тебе не тяжело мешки	24
Съедая за день высохший сэндвич	25
О, темные ночные разговоры	26
Я полагал, что нервные припадки	28
По кладбищу кожу веселый	29
И не люблю оранжевый	30
Через струны железные лиры	31
И на соломинку чужого глаза	32
Ребенок ушибшись плачет	34
Катушка ниток — шелковая бочка	35
Стою в уборной... прислонюсь к стене	37

И — поле злаков или трав	38
В твоих объятьях можно умереть	39
Вымывшись и белую рубашку	40
Пять месяцев я прожил без пенснэ	42
Богобоязненный семит	43
Над городом несется смерть	45
Как утомленный почтальон	46
Ночь — женщина, мужчина — день	49
Когда солдат встречается с солдатом	50
Любились семь часов, а спали два	52
Чтоб стать ребенком, встану в темный угол	53
В четвертом этаже играют Баха	55
Я часто, написав свои	56
Трава зеленая, как скуки	58
О, не смотри в оюпную дыру	59
Я улицу покинул Ламартина	61
На деревянное яйцо	62
Какая боль.. Не воспалиенье ль мозга	64
Подобно крысам с корабля	65
И мою руки... И жувшии Пилата	67
Ах, бабочка между домами	68
На некрасивых девушек и женщин	70
И с омерзением приемлю	71
В толпе я смерть толкнул неосторожно	73
Собака кошку ненавидит	74
Ноябрьские тюфяки	75
Пишу стихи при свете писсуара	76
О, русский Свифт... Я слабый Гулливер	78
Вы — Михаила Лермонтова брат	79
Не трогайте мои веса	84
Неблагодарность — самый черный грех	85
А, Б, В, Г, Д	87
И есть борьба за несуществованье	88

БОРИС БОЖНЕВ

Ф О Н Т А Н

**Восемнадцать
Стихотворений**

**П А Р И Ж
МСМХХVII**

ДУШЕНЬКЕ

**La seule personne au monde
qui me donne parfois envie de
me jeter à genoux.**

G. Duhamel

Ф О Н Т А Н

I

На землю смертный воду льет
Без радости и без влечения,
Но в стройный обратить полет
Воды нестройное течение,

Но к небу устремить струю
Блестательную — смертный любит,
Подобной сделав острию
И вызвав высоту из глуби...

II

Notre planète souffrante a
besoin de centre.

H. Massis

Полету бурному внемли!
Фонтан закованно - свободный
Для круга пыльного земли
Есть центр отрадный и холодный,

И то взлетает напрямик
Струей стремительно - единой,
То падает, и через миг
Вновь рвется в неба середину...

III

Со светло-бодрым выраженьем
Струишься ты в горячий день,
Но быстрое твое движенье
На смертных навевает лень...

Смотря на хлопоты фонтанов,
Лениво возлежит Восток,
И лишь тогда от сна восстанет,
Когда иссякнет их поток...

IV

Ты — без берегов и без русла.
Что для тебя земная буря...
И к помрачившейся лазури
Тебе не вознести весла...

О, если бы мое весло
Струею выпренно-торчащей
До молний блещущих все чаще
Под громыханье отнесло...

V

О, одинокая струя,
Ты не сливаешься с другою...
О, ниспадение острия
Меланхоличною дугою...

Бежит в содружестве поток.
В содружестве бушуют волны,
И лишь один фонтанный ток
Журчит в уединеньи полном...

VI

Сколь гармонически над ухом
Природы вьется и звенит,
Что звонко-блещущая муха,
Струя летящая в зенит...

Она чарует слух Природы
Не престаивая день и ночь,
И длань восточного народа
Ее не отгоняет прочь...

VII

Скрыта звучная струя
Деревьями густого сада...
Так между тайной бытия
И человеком есть преграда...

Но зеленью скрытый шум
До слуха сладко достигает...
Так вслушивающийся ум
Невидимое постигает...

VIII

Сию воздушную черту, —
Как сильно человек ни страдает, —
К ней припадающему рту,
Воспламененному от жажды,

Мучительной — не преступить...
И, заливая пламень ада,
Он может долго, жадно пить,
Ее не одолев преграды...

IX

Взгляни на льющийся алмаз,
Блестящий многоцветным роем —
Лазурь и солнце сотни раз
Преломлены его игрою...

Сияньем брызгая вокруг,
Он ослепительный и чистый,
И вправленный в гранитный круг,
Переливается лучисто...

Х

Я дно высокое открыл,
Измерив глубиною мысли —
Похожи очертанья крыл
На ангельские коромысла...

О, за водой, что так скудна, —
Фонтан — для ангелов колодец, —
Высокого касаясь дна,
О, прилетают, не приходят...

XI

До той же самой высоты
И на одну и ту же землю
Все также ровно льешься ты,
Но я тебе нестройно внемлю...

Ты завершаешь путь прямой
Одним и тем же звуком плоским,
Так отчего же хаос мой
Твоим явился отголоском...

XII

Нет, не песочные часы —
Фонтанные... Вода, как время,
Чаруя знойные красы
Благоуханною гарема,

Неиссякаемо бежит...
И в созерцании развратном
Восток дряхлеющий лежит
Перед струею невозвратной...

XIII

О, нападение твое
Не утратит лазурной жизни,
Зане земное острие
Должно быть твердо-неподвижным

Дабы грозить кому-нибудь...
Но ты в стремительном недуге,
Небесную не тронув грудь,
Сменяешь острие на дуги...

XIV

Потоки мощные воды
На землю проливает небо —
На плодоносные сады
И на поля златые хлеба,

И русла наполняет рек...
А возвращает к щедрым сводам
Неблагодарный человек
Твою единственную воду...

XV

Струя прохладная поет
И, слушая в оцепененьи,
Прохожий из пригоршней пьет
Ее живительное пенье,

И чистый и прозрачный звук,
Не умолкая, без усилия,
Смывает грязь с горячих рук,
Овеянных дорожной пылью...

XVI

Языческое изречение,
Торжественное “панта рей” —
Твоя струя, твоё течение...
Не медленнее, не быстрее,

И без начала, без окончания, —
О, слышит ли его Кратил —
Бессмертно-ровное журчанье —
Иль слушать космос прекратил...

XVII

So long as the house is empty,
we shall have peace and quiet.

R. Kipling

Какая мертвенная тишь...
Дом опустел и сад запущен,
И еле-слышно ты грустишь,
Струею траурной опущен...

Счастлив тот невозвратный век, —
Я повторяю неустанно, —
Счастлив, счастлив тот человек,
Кого оплакали фонтаны...

XVIII

Не воздвигайте мне креста —
Воздвигните струю фонтана,
И пусть струя лиется та...
Ни вслушиваться не устану,

Ни зреть из мрачной темноты,
Из безотрадного бессмертья,
Как славословит с высоты,
Как воздух в ликованьи чертит...

О Г Л А В Л Е Н И Е

I	На землю смертный воду льет	11
II	Полету бурному внимли	12
III	Со светло-бодрым выраженьем	13
IV	Ты — без берегов и без русла	14
V	О, одинокая струя	15
VI	Сколь гармонически над ухом	16
VII	Сокрыта звучная струя	17
VIII	Сию воздушную черту	18
IX	Взгляни на льющийся алмаз	19
X	Я дно высокое открыл	20
XI	До той же самой высоты	21
XII	Нет, не песочные часы	22
XIII	О, нападение твое	23
XIV	Потоки мощные воды	24
XV	Струя прохладная поет	25
XVI	Языческое изречение	26
XVII	Какая мертвенная тишь	27
XVIII	Не воздвигайте мне креста	28

БОРИС БОЖНЕВ

SILENTIUM
SOCIOLOGICUM

ПОЭМА

П А Р И Ж
MCMXXXVI

Повиноваться пению нельзя.
Я призываю к неповиновенью.
Пускай поет цыганка бытия —
Ее, ее не слушай, вдохновенье.

Не то — один губительный толчек,
И ты — клянусь молчаньем Аполлона —
Автомобильный услышав гудок,
Стеною упадешь Иерихона.

Царицы песни сброшен произвол, —
Как страстно бы она ни танцевала,
Больших серег качая ореол,
Она не может быть царицей Бала.

Испепелил огонь ее очей
Свою же власть, свои ступени трона —
У Хроноса украв его детей,
Она не знает что такое Хронос.

Свое паденье сладостная власть
Лишь полуропотом гитар встречает,
И перед тем, как навсегда упасть
Себя еще блаженством величает.

Бал это там, где юная чета
Не ведает о старине Музыки,
Где бледно-голубая суета
Чуть розовеющей равновелика...

А на иарицу песни погляди —
Меж бабочек она как лед застыла,
Но нежный кратер вальса посреди
Блестящей залы вдруг испепелила...

Бал это там, где юная чета
Не ведает о старине Музыки,
Где строгопалевая суета
Сиреневающей равновелика...

Свое паденье сладостная власть
Лишь ропотом своих гитар встречает,
И перед тем, как навсегда упасть
Себя еще блаженством величает.

И слыша ропот горестных гитар
Уж ни о чем она не сожалеет —
Ей до сих пор ее же дивный дар
Мешал услышать то, что было ею...

Испепелил огонь ее очей
Свою любовь, своих страстей законы —
У Хроноса украл его детей,
Она не знала что такое Хронос...

Теперь, теперь услышала она
Все то, что было смуглости бледнее,
Увидела куда вела луна,
Куда ее вела, идя за нею...

Так это я была весь тот костер,
Что только часть мне полночь отразила,
И утихал глубокомудрый спор,
Когда мое безумье говорило...

Мой женский голос был почти мужским,
И меж землей и небом расстоянье
Я пролетала голосом своим
Почти на крыльях на почти свиданье...

Почти, почти встречались мы с тобой,
Лицом к лицу, кольцом к кольцу, к колечку,
Опьянены сребристою пальбой,
Шампанского златистою осечкой...

Прощай, прощай мой друг, мой голубок, —
Все яростней — под свист, быстрее — под визги,
Со струн рожущих на землю, вбок,
Рука сухая сбрасывает брызги...

Так это я была весь тот костер,
Что только часть мне полночь отразила,
И утихал глубокомудрый спор,
Когда мое безумье говорило...

Прощай, прощай мой друг, прощай дружок, —
Все с большей силою рука сухая,
Как бы струны почувствовав ожог,
Трясаясь, на землю брызги сотрясает...

Свое паденье сладостная власть
Под ропот горестный гитар приемлет,
И пятая родившаяся масть
Богатству неземному чутко внемлет...

Настали дни слабейшего толчка,
Настали дни сильнейшего крушенья,
И от автомобильного гудка
Ты упадешь стеною песнопенья.

Твое перо в немеющих перстах
Уж заглушает Бытия запястья,
И нечто есть, что не упало в прах,
Хотя лежит во прахе сладострастье.

Не гнев, не ветер, не ярость, не мороз, —
А более, чем чувства, чем стихии:
Бегут по коже мирриады роз,
Всевидящие, но глухонемые.

Пускай уйдет кочующий престол
В иное царство творческого духа —
Святых серег незримый ореол
Увенчивает снизу орган слуха.

И эти серьги должен ты носить.
Имеющие их — да слышат пенье.
И где-то эхо отдалось — носить...
Я призываю к неповиновенью.

Не гнев, не ветер, не ярость, не мороз,
А более, чем чувства, чем стихии —
Бегут по коже мирриады роз,
Всевидящие, но глухонемые.

Уж все готово совершить прыжок,
Где верх и низ — лишь варварские стоны,
И вместо тени газовый рожок
Отбрасывает светлые хитоны.

На светлый и мерцающий хитон
Слетаются, но слишком поздно, боги —
И верх и низ в один античный стон
Сливаются, и гаснет газ убогий...

Ты должен гармонично онеметь,
Гармонии испытывая муки,
И так молчать, чтоб солнечная медь
Из недр к тебе протягивала руки.

Молчать и так молчать, чтоб вечный хор
Природы умолкал перед органом
Умолкшим... Чтоб аккорды снизить гор
Арпеджиями низкими тумана...

Какой-то гул каких-то голосов
Из глубины моих стола и кресел,
Из душераздирающих лесов,
Как будто кто их вырвал и повесил —

Мне слышится — лесов девятый вал...
Пускай смыкает плоскость палисандра
Свой тихий и мечтательный овал, —
В нем место есть еще для слов Кассандры.

Но я на это место не взглянул —
Мне самому понятен гул зловещий,
Угрюмый гул, неотвратимый гул:
Он через вещь мне возвещает вещи...

Твое перо в немеющих перстах
Уж заглушает Бытия запястья,
И нечто есть, что не упало в прах,
Хотя лежит во прахе сладострастье.

Не гнев, не ветер, не ненависть, не боль, —
Сильней стихии, яростнее чувства;
Всю кожу натирает канифоль,
Чтоб глаже совершалась смерть искусства.

Свой стол выстукивая, словно врач,
Я нахожу — мой век ужасно болен.
Как неказнивший молодой палач
Доволен этим, но и недоволен.

Задумчив он, и голову об'яв
Свою, склоняет, как чужую, ниже,
И если бы хоть раз казнил он в'явь —
К действительности не был бы он ближе.

Мой век обуреваем топором,
И рубит все — не только Ниагару,
А даже то, что было серебром,
Но не было рыдающей гитарой.

Гармонию какую создают
Пустынный зал, ряды пустые кресел...
Два эхо сами для себя поют...
И на пороге я стоял так весел,

Так радостен, и на пустынный зал
Глядел, как третье эхо, без'языкий,
И луч Музыки золотой сиял
Там, где была недавно тень Музыки...

С тех пор всегда пустынно предо мной,
И я иду путем обыкновенным,
И тихо, и задумчиво ногой
Подталкиваю камень драгоценный, —

Бежит проворно мышь его игры,
Рожденная раздумия горою,
И из еще таинственной руды
Кую венец безвестному герою...

Интернационалы голосов,
Как нечленораздельные калеки
Каких-то многогранных языков,
И образуя в воздухе отсеки,

Летят опять... Громовсемирность книг
Их встретила громовсемирным хором...
Удар был страшен... Все умолкло в миг,
И утонуло в гимне Пифагора...

Из всей громовсемирности беру
Тишайшее — пыль, что лежит на книге,
Легчайшее — и все же не сотру,
Мельчайшее — искусств, наук, религий...

Не гнев, не вихрь, не ненависть, не боль, —
Бесчувственной стихий, стихийней чувства —
Уж сходит с кожи вечная мозоль,
Натертая твоими трудом, искусство.

Довольно шуток. Пушкин был Всерьез.
Последний смех божественной стихии.
Бегут по-коже мирриады роз,
Всевидающие, но глухонемые...

Играть — молчать... И колыбель смычка
С уснувшею гармонией качая,
Бояться и желать, чтоб от толчка
Она проснулась, сон свой не кончая...

Играть — молчать... Качая колыбель
Смычка, гармонию свою баюкать,
И мучиться — ужель, навек, ужель
Она смежила сладостные звуки...

Тебя, тебя, поставив словно щит
Между собою и между вселенной,
Молчание само себя хранит
И прижимает перст к устам нетленным.

Как бога, бога поцелуй сей перст,
Смежающий земных глаголов вежды!
Под поцелуем бога рай отверст —
Един язык не ведает одежды.

Закон струны перстами преступив,
Нигде себе ты не найдешь возмездья,
И душу, словно кровь ее, пролив,
Постигнешь ты — душа твоя созвездье,

В котором есть бессмертия звезда..
Трудись, ликуй и трепещи убийца,
Пока в могиле не совет гнезда
Молчания вознесшаяся птица...

борис божнев

а л ь ф ы с п е н о ю о м е г и

двадцать семь стихотворений

париж мсмxxxvi

а

Бегут на вечный берег аксиомы,
Не постигая мокрого песка,
И каждый раз Учитель по другому
Внимает мудрости ученика...

Разрушены языческие волны
До основанья неба и земли,
И бедный парус, христианства полный,
Сияет за колоннами вдали...

ω

а

Ты зришь ли огонь, в котором нет огня,
Ты зришь ли дым без сладостного дыма? —
Он заливает, гасит он меня
Потоками солеными, седыми,

Что, хладные, у ног моих шипят,
И, с плеском разгораясь постепенно,
Меня залить и погасить хотят
Чуть тлеющею, чуть нетленной пеной...

ω

а

Как можешь ты мечтательно ходить
Вдоль берега израненного моря,
Его простор как можешь ты любить,
Когда твоя любовь в его просторе...

У ног твоих то тяжело упадет,
То, истекая пеною, привстанет...
Твою любовь оно тебе вернет,
Простором быть оно не перестанет...

ω

α

Безмолвствует за слогом ясный слог
Лазурности до тишины безмерной,
И свой гекзаметрический порог
Переступают волны равномерно...

Ни слога облака... Ни слога птиц...
Лишь нескончаемость слогов лазури
Хранит спокойнейшую из страниц,
Которую душа читает в бурю...

ω

α

Какъ лилия, что сеет и что жнет,
Вдали сияет парус белоснежный...
И христианства полотно соткет
Средь наготы языческой, безбрежной...

И соткано... И все ж — обнажено...
И в наготу языческую канет...
И бедное нагое полотно
Роскошные с собой уносит ткани...

ω

а

«Я не могла заснуть — так тихо было море...
О, почему оно зловеще не шумит,
О, почему оно на яростном просторе
Торжественно и торжествуя не гремит...

И тщетно я ждала спасительного гула
Отрадный сердцу плеск, понятный только мне, —
Как сладостно бы я под гром его заснула,
Под глубочайший гром в глубокой тишине...»

ω

а

Ты знаешь для чего я создал это море? —
Чтоб около меня оно могло страдать...
Ведь струны не безбрежны, струны на просторе
Не могут беспредельно, без конца рыдать...

Я создал это море, чтоб его страданья
Великой глубиною были для меня...
Ведь струны не безбрежны, вечностью рыданья
Лишь в горле человека до конца звеня...

ω

а

Как дети, что бежали на песок
И вдруг упали в море — волны моря
Упали... И подняться им помог
Прилив тоски над глубиною горя...

Прилив помог, как плач детей, поднять
Плач горьких волн, но плачет вся бездонность,
Которую утешить и обнять
Не может в час прилива вся влюбленность...

ω

α

Бедна та грусть в которой нет песка.
Грусть глубока в бесчисленности плоской.
Как волнами прибитая доска,
На мокрые полосочки, полоски

Она легла... Одна, ни с кем другим
Не в силах на полосочки делиться,
Ей сладостно единством дорогим
Над плоскостью бесчисленною длиться...

ω

а

Что было только частию Природы,
То целым мирозданием гремит, —
Земное лоно вместе с небосводом
Подводное надземностью громит...

Грохочущая плоскость разрушенья
Вздымается ревущею горой,
Рождая в муках страшного крушенья
Второго лона небосвод второй...

ω

а

Срывает с эхо буря все покровы
И слух нагой — среди обнаженных сфер,
И громовое небо столь сурово,
Сколь ласковым бывает Люцифер...

Единая раздвоена Природа
И делается двойником глубин,
Где волны стали частью небосвода
И небосвод часть водяных руин...

ω

а

С глубоким диким грохотом руины
Бездонности на плоскости лежат,
И с грозным беспощадным ревом львиным
Круги воды, что римский цирк, дрожат,

И все бурлит, но это все не буря,
А буря то, что без всего бурлит,
Что без всего, без мудрости, без дури,
Но равное само себе гремит...

ω

а

Сжимает море в яростных тисках
Все выше и — раз'ятием огромным
Роняет море, — и опять в ветрах
Об'ятием воздвиглось буреломным...

И вдруг — с полубездонной высоты
Опять роняет моря полубездну, —
И держит, держит стройность красоты
На хаосе горбов своих железных...

ω

а

Черты единой хаос беспрестанный,
И плеск подобный гимну грозных рук,
Дисгармоничный и многоорганный
Не только звук, а после — только звук,

Гласящий о потере лицезренья,
Которому есть край, но нет конца,
И льется через край конец мученья —
Ведь на тебе уж нет ее лица...

ω

а

Средь страшной дикой бури соловей
Вдруг сладостно запел — нивесть откуда,
Нивесть какой любви, каких ночей —
Средь яростного громового гуда...

На миг он грохот бури заглушил
Хрустальной бурей сладостного пенья,
Но человек в тот самый миг решил,
Что смерть близка и нет ему спасенья...

ω

а

Гремящими могилами воды
Брег покрывается — и оживает...
И пена с очертаньями звезды
Свой влажный сумрак светом проливает...

...И все же не заговорила смерть,
Неся воды гремящие могилы,
Обрушиваясь на немую твердь
С такой неумолкающей силой...

ω

α

Оратор на берегу торжественного моря
Мечтает Демосфена камешками быть —
Для смертные судьбы в стройноязыком споре
Блаженный приговор в суде богов добыть...

Срывает лицедей хаос с безликой бури
Дабы в рукоплесканье грозное взглянуть,
Рожденное игрою страшную лазури,
Что прежде сердца мощно потрясает грудь...

ω

α

Потоп глядит на разрушенье Башни,
И волны тонут в грохоте камней...
От их любви великой и бесстрашной
Осталась только пена ступеней...

И с Башни бросилась душа Потопа,
И рухнуло столпотворенье вновь...
И омывает берега Европы
Его любви уже ее любовь...

ω

а

...Но берега глухой пустынный скрип
Слышнее песнопенного прибоя...
Скрипичности недвижимый изгиб
Рокочет набегающей трубою,

И влага каждый свой нестройный звук,
Трубе своей скрипичности внимая,
Нестройным эхом выпрямляет вдруг,
Как некая гармония хромая...

ω

а

Когда волна бежит чрез лунный свет,
Из мрака в мрак, в сиянье чрез сиянье,
Она не знает... нет... не знает... нет...
Ни свет разрыва... нет... ни мрак слиянья...

А ты луной идешь чрез жизнь мою,
В гармонии волшебно отражаясь,
И, на гармонию смотря свою,
В твое сияние я погружаюсь...

ω

а

Полуобняв любимую волну
Я вышел с нею в ласковое море...
Мы были в темноглубом плену,
Мы были в темноглубом просторе,

Пока туман на море не упал
И не исполнил тайного желанья —
Ведь мы ушли, чтоб берег не пропал
Навек, а только был в земном тумане...

ω

а

...Но стоит лишь придти сюда с мольбертом,
Как чайки над водой медлительней летят...
Их крики, смешанные с резким ветром,
Особенно зовут, особенно грустят...

И бесконечная безбрежность линий
И небеса сливаются вдали
С божественною краской темносиней,
Рокошущую только для земли...

ω

а

Когда, когда звенит игрушечное море
В шкатулке светлой грусти — зубчики любви
Грызут орешки волн, бросая на просторе
Скорлупки нежности, что пеной не зови...

И слабый блеклый звон не называй хрустальным,
Не то, не то тебе он сердце разобьет,
И сердце станет мертвым сердцем музыкальным,
Где все, что умерло столь сладостно поет...

ω

а

Прошедшее находит колыбели,
Грядущее находит колыбель
Одну всего... И то, дойдя до цели,
Оно рождает двух страданий цель...

А все прошедшее — дитя разлуки —
Баюкает, баюкает моря,
И колыбели песнею безрукой
Утешены, то вниз, то вверх смотря...

ω

а

Слабеет море сил моих земных...
Меня к Стране уносит неизвестной...
Уже не видя берегов своих,
Зову на помощь море сил небесных...

Но чем я дальше в слабость ухожу
Тем горизонт прекраснее и шире,
И помощь неземную нахожу,
Не в звуках лиры, а в умолкшей лире...

ω

α

Да, поцелуй, звучавший нежно у фонтана,
Над бурным, грозным морем сладостей звучит, —
Вокруг него нет дымки лунного тумана,
Сребристую струю фонтан к звездам не мчит...

Под ним туман зловещий яростного моря,
Ревущие фонтаны безобразных струй,
И, словно голос ангела в кромешном хоре,
Все сладостей звучит волшебный поцелуй...

ω

α

Нет ничего в таинственном набеге,
Есть только он — таинственный набег...
За альфой альфа с пеною омеги
Безбрежностью заканчивают брег

И начинают вновь на нем безбрежность...
Соленую отчизну нежных бурь
Навеки покидает безмятежность...
Нет ничего и значит все — лазурь...

ω

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лазарь Флейшман. О Борисе Божневе</i>	7
Борьба за несуществование	21
Фонтан	107
Silentium Sociologicum. Поэма	133
Альфы с пеною омеги	147

Bozhnev, Boris Borisovich, 1898-1969.
Sobranie stikhotvorenii v dvukh tomakh.

ISBN 0-933884-53-2

ISBN 0-933884-53-2